

Ожидание прихода Нового года, ощущение приближения праздника всегда дороже самого праздника, когда шестеренки снежинок, плавно плывущие из бездны небес, вращают колеса времени, все безвозвратно ускоряя, и после хрустального звона фужеров вдруг осознаешь и понимаешь, что снежинки так же падают, как и полчаса назад, но это уже снежинки нового года, а не вчерашние, имя которым — прошлогодние снежинки, осевшие рыхлым снежным настом над нашим прошлым, да и сами они уже олицетворяют некое прошлое наше существование. И вновь у нас — только память о прошлом и мечты о будущем, а самого настоящего нет и в помине, ибо оно, настоящее, ежесекундно переходит в прошлое. Это все в буднях незаметно и незначительно, это все объемно, осязаемо и выпукло только в последние часы и минуты уходящего года.

I

Я ехал в электричке до аэропорта Домодедово, чтобы встретить вечерний рейс из Алма-Аты. Где-то в районе Чертаново возникли подобного рода мысли. И я понимал, глядя на сумрачное подмосковное небо с легким полетом снежинок, что завтра будет все так же зябко и монотонно, несмотря на то, что к дате от Рождества Христова прибавится еще одна единица.

Тем не менее, ехал в электричке, экономя свои кровные на обратное такси, ибо прилетает Она, и я еду встречать Ее.

Я уже почти месяц нахожусь в белокаменной. Моя рукопись каким-то образом попала в план издательства «Молодая гвардия», и я сейчас вместе с редактором завершаю последнюю правку перед сдачей в производство. Это моя первая книга в Москве. Потому здесь так долго я и нахожусь. Постоянные посиделки в Центральном доме литераторов, и с редактором, и без него, в кругу друзей по Лит-институту достаточно подточили мой финансовый ресурс в виде аванса от гонорара будущей книги. Но кое-что осталось и на встречу Нового года, и на новогодний подарок для моей Музы, которая кратко сообщила по телефону: «Буду 31-го, вечером, встречай. Рейс 505, Алма-Ата — Москва». Вот и еду встречать, заблаговременно сняв на неделю однокомнатную квартиру на ВДНХ, загрузив холодильник всякой всячиной из Елисеевского и бутербродами из Пестрого зала ЦДЛ. Вина — «Мурфатлар», «Гурджаа-

ни», коньяк «Плиска», водка «Сибирская». И все это венчают две бутылки «Советского шампанского» — брют.

Для неженатого молодого писателя, разумеется, соблазнов много в столице, на то она и столица нашей Родины — Москва. Но есть такое понятие, такой образ и символ, характерный и для поэта, и для прозаика,— Муза. Я, конечно, помню расхожий анекдот: у поэта — Муза, а у поэтессы — Музык. Но у меня Муза, и только Она, одна-единственная. Ондатровая шапка, купленная через два телефонных звонка друзей-москвичей в ателье Литфонда, и есть новогодний подарок моей Музе. Да чтобы эта шапка не была пуста, в нее вложен флакон французских духов «Шанель», не помню какого номера, но прекрасно помню, что приобрел его по протекции корректора моей рукописи по чекам «Внешторга» в «Березке», разумеется, по тройному курсу так называемой твердой валюты.

Вот такие чисто прозаические мысли с надеждой на поэтические последствия вперемежку с псевдофилософскими воззрениями переполняли меня, когда электричка плавно подошла к конечному пункту следования.

Самолет прибыл с небольшим опозданием. И я встал у стойки выхода прилетевших пассажиров, взглядываясь в мелькающие лица, на которых была видна печать единой радости — прилетели до прихода Нового года; а значит, будем встречать здесь, на семи холмах, а не там, в небе, среди холодных звезд и неизвестных светил.

А вот и она! Стройной козочкой, нет, грациозной ланью, в распахнутой короткой дубленке, с японским цветным платком на шее (без шапки, видимо, женская интуиция подсказала, что будет ей шапка, не мерзнуть же на заснеженных проспектах Москвы), в тугу обтянутых джинсах, обозначающих приятные контуры всего того, что ниже пояса, и в легких сапожках на меху с невысоким каблучком...

Что таится за всем этим одеянием, я не стал домысливать, ибо все это улетучилось среди снежинок небытия, когда она повисла на моей молодой писательской шее, которая уже привыкла носить на себе незаурядную голову, наполненную соном образов, сюжетных линий, начальных интриг и завершающих развязок, одним словом, всем тем, что именуется художественным произведением, то бишь сутью писательского вымысла.

Обдав меня приятными благовониями района Тулебайки и Абая, она взглянула в мои глаза и, слегка смущаясь, шепнула:

- Вот и я...
- Здравствуй, Муза, здравствуй, душа моя!
- Сколько на твоих?
- Двадцать девятого.
- Ой, надо позвонить в Алма-Ату. Там же Новый год через сорок минут.

Мы быстро разыскали переговорный пункт и, звеня пятнашками, стали набирать код родного для нас южного города.

Через пять минут, поймав зеленоглазого коня под незабываемый предновогодний московский ветерок в снежинках, я сказал таксисту:

- С Новым годом, шеф! На ВДНХ!
- Пятерка сверху.
- Идет, шеф.

(Это значило, что пятнадцать по счетчику и пять рублей в довесок).

II

В салоне такси тепло и уютно. За боковым окном мелькали снежинки, а в лобовом было видно, как неслась вдоль дороги московская поземка.

На фоне кружящихся снежинок я видел ее отражение: упрямый лоб, правильный нос и чуть вздернутая верхняя губка над нежным подбородком.

— Жарко,— сказала она и расстегнула верхнюю пуговку синей кофточки, за легкой тканью которой чувствовалось и легкое дыхание ожидания.

Мало ли чего можно ожидать в предновогоднюю ночь, подумал я, когда машина вырвалась на Калужскую. И вблизи церкви на Коломенском она внезапно попросила таксиста остановиться:

— Все, у нас там Новый год,— показывая на свои часики, воскликнула она.

— Шеф, не торопись, мы выйдем на минутку.

— Под Новый год все торопятся,— пробурчал таксист.— Что ж, подожду. Мой дом на Рижской, так что после вас заеду к своим и встречу с ними, а потом опять до утра.

— Ничего, шеф, зато завтра по полной программе — и за Новый, и за Старый. Отгуляешь свое.

Мы вышли из машины и отошли в сторонку.

— С нашим, алма-атинским Новым годом!

Я прижал к себе свою Музу, утонул в запахе ее густых волос, на которые падали едва видимые узоры снежинок и в одно мгновение превращались в капельки пара, сливаясь с нашим дыханием.

— А с чем встречаете? Без стопки вроде не того,— улыбнулся таксист, глядя на нас, чуть приоткрыл переднюю дверцу.— У меня лично «нз» всегда при себе.

Таксист показал бутылку белоголовой.

— У нас тоже при себе,— весело ответила Муза и достала из дорожной сумки бутылку коньяка «Казахстан», а также кусок казы и баурсаки.

— Саркыт* с алма-атинского стола,— пояснила она.

Коньяк на легком морозе прогрел все мое писательское нутро. Было легко и весело, ведь тебе едва только тридцать, и жизнь полна приятных ожиданий, а рядом с тобой, и только с тобой — вот она, твоя Муза.

— Не пей много,— потребовала она.— У нас еще вся ночь впереди.

Да, вся ночь, и не просто ночь, а ночь новогодняя, в отдельной московской квартире на двенадцатом этаже.

Когда подъехали к высотке, что напротив скульптуры Мухиной «Рабочий и Колхозница», я щедро расплатился с таксистом.

— Это вам,— сказала она, передавая початую бутылку коньяка.— Завтра выпьете и вспомните нас. С Новым годом!

— Ну что ж, спасибо. И вам хорошо провести Новый год.

«Волга» в клубах морозного пара мигнула красными огнями стоп-сигналов и оставила нас одних посреди площади на проспекте Мира.

III

Только женщина может накрыть изысканный стол из всех тех холостяцких припасов, что были в холодильнике.

Пока я протирал бутыли с минералкой и открывал соки, она ловко и умело расставила приборы, из двух-трех банок консервов печени трески и скумбрии или горбуши в масле соорудила салаты, добавив к ним квашеной капусты, а знаменитую русскую закуску — сельдь под луком в сочетании с вареной картошкой, оставила на потом, пока сварится эта самая картошка.

* Гостиные с застолья.

В довершение — национальные казы, карта и баурсаки придали нашему московскому новогоднему столу чисто восточный, алма-атинский шарм.

Я, уловив момент, надел ей на голову ондатровую шапку и галантно вручил флакон с духами.

— В Москве морозы, и надо держать голову в тепле,— уклончиво промолвил я.

— А я и не подумала, что холодно,— рассмеялась она, довольная подарком.

Затем брызнула духами на колпачок и вдохнула:

— Да, фирма.

Надев чуть набекрень шапку-ушанку, она, «дыши духами и туманами», взглянула на свое отражение в темном московском окне:

— Ну, как?!

— Слов нет, Кыз Жибек в ожидании своего Тулегена,— в тон ее интонации ответил я.

— Ну, ладно, Тулеген,— отпарировала она.— Я пошла... в ванну. А ты...— она погрозила пальчиком,— не пей раньше времени. И включи телевизор.

Дверь в ванну захлопнулась, послышался гулкий шум и всплеск воды.

Я остался один в комнате, в некотором недоумении...

А до Нового года оставалось меньше часа, а если точней — сорок три минуты.

А за дверью ванны был слышен шум воды и нежный, воркующий голосок моей Музы.

Я машинально стал размышлять, что выпить — водки или коньяка. И причем для поднятия тонуса две рюмки подряд, как говаривал классик русской литературы Антоша Чехонте.

Я подошел к темному проему окна. «Москву люблю в любое время года»,— пропел я чью-то песенную строку.

«Не пей — козленочком станешь»,— молвило мне мое же отражение.

«Не козленочком, а козлом отпущения этой новогодней ночи»,— отвечало ему мое мрачное реальное «я». До Нового года без малого почти ничего, а она вздумала принять ванну. Что — только для ванны летела сюда почти пять часов из далекой Алма-Аты?

А из ванны уже доносилась плавная гармония женского напева и водяных струй.

Я выпил две рюмки подряд «Сибирской» и, продолжая «выдавливать из себя раба» этой самой новогодней ночи, стал прислушиваться к синтезу своего внутреннего «я» с действием паров открытия Менделеева.

Водка медленно, но верно и незаменимо вносила свои коррективы в состояние моей мятущейся души.

«В Москве не будет больше снега, не будет снега никогда»,— вспомнил я строку Межирова, глядя на пляску снежинок за московским окном. Почему не будет? — будет и всегда свежий и всегда неповторимый московский снег. Целая книга стихов поэта Сергея Мнацаканяна посвящена этому снегу. Она так и названа — «Снежная книга».

Странно, что у Пушкина, Толстого, Чехова, Бунина, Абая, Ауэзова есть свои вечные образы снега, метели и зимы, думал я, а у Гоголя вроде бы нет. Как нет? А «Шинель»? В ней, может быть, и прячется образ петербургского снега. А «Вечера на хуторе»?..

Какие-то неясные силы загудели во мне. Как там, у Олжаса: «Перемещаются во мне шары блаженства, подкатывает к горлу ком — знак совершенства». Но до совершенства моей души было еще ой как далеко, а до встречи Нового года всегоничего. Я тупо уставился в громаду лиц «Рабочего и Колхозницы», в серп и молот, взлетевшие над их головами.

Во мне гудел такой молот страсти, что без наковальни никакому серпу ее не скосить. И вообще, все, что мы пытаемся познать в женщине, разумеется, естественным путем своей страсти, давным-давно уже описано и в фольклоре, и у многих писателей и поэтов.

Я имею в виду настоящих творцов человеческих характеров и страстей, а не тех, у которых после заштампованной фразы о том, что она открыла ему душу и дверь или он взломал ее дверь и открыл свою душу, остается элементарный фиговый лист в виде многоточия. А что там скрыто за этими самыми тремя точками, меня всегда занимало и как читателя, и как обывателя.

Образы и картины роем кружились в моей голове. Как там, у еще молодого Набокова:

*Как дочка мельника меньшая
Шла из воды, вся золотая,
С бородкой мокрой между ног.*

А как там в нашем, исконно казахском фольклоре, в знаменитом эпосе «Кыз Жибек»:

*Случилось то, что быть должно,
Что в юности нам суждено
Впервые в жизни испытать
И что не надо объяснять.
Наш Тулеген, наш ер-джигит,
Весь в пламени любви горит.
Девичий расколов орех,
Он сном возлюбленного спит.
Тут не охотник ли сайгу
На полном подстрелил скаку
И так разделявал добычу,
Что пятна крови на снегу?!*

А как там у запрещенного Магжана:

*И — моей любви объятья
Манят на исходе дня.
Шелест скинутого платья,
И — в слезах купаюсь я.
Сердце, чувствами пылая,
Волею самих небес
Увлечет, увы, не зная,
Что опять вселился бес.*

За дверью ванны стояла томительная тишина. Она настораживала, возбуждала и угнетала.

Из телевизора плыли заключительные кадры фильма «Ирония судьбы». Актер Мягков в образе хирурга Жени Лукашина шел, а затем летел понуро из Ленинграда в Москву.

*С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них...*

«Что она мне может дать — нового и необычайного? — рассуждал я с долей мужского эгоизма, вновь наливая себе русский национальный напиток.— Не пора ли ставить многоточие этой ночи?»

— Тебе хватит пяти минут? — спросила она, наконец приоткрыв вспотевшую изнутри дверь ванны.

Из ванны вышла не она, а что-то из хрестоматии новейшей литературы:

*Изгиб спины ее мне был предсказан,
И линия бедра давно обещана,
По лестнице сходила боком женщина,
Как плавный насталик арабских сказок.
Она спускалась (выступало тело),
Плечами наливалась, грудью зрела,
Лавиной плоти на меня плыла,
Шатая валунов колокола.*

— Смотря для чего,— с видом жизнерадостного кретина ответил я, продолжая любоваться метаморфозой происходящего.

— Оставь водку и прими душ,— повелела она, кутаясь в мой халат.

— А ты что? Так, прямо в халате, собираешься встречать всенародный праздник Нового года?

— За меня не волнуйся. Халат будет висеть снаружи за дверью. Да и тебе он ни к чему.

— Это как так ни к чему? Оч-чень даже к чему,— продолжал дурачиться я, скрываясь в ванне.

— Иди, да побыстрей, пожалуйста. Через пять минут будет выступать Генсек.

— Кто-о?

— Леонид Ильич. Поздравит нас с Новым годом.

— А Алма-Ату он уже поздравил?

— Да, и Дальний Восток еще раньше, днем до обеда.

В ванне, стоя под душем, я продолжал вспоминать фривольные строки разных поэтов, стихи которых бродили в списках по этажам Литинститута, по горизонтальным колодцам студенческой свободы слова. Почему-то пришли мало кому известные строки Павла Васильева:

*Лебяжьей шеей выгнута рука,
И алый след от скинутых подвязок...
Ты тяжела, как золото, легка,
Как легкий пух полузабытых сказок.
Жеманница! Ты туфель не сняла.
Как высоки они! Как высоко взлетели!
Нет ничего. Нет берега и цели.
Лишь радостные, хриплые тела
По безразличной мечутся постели.
Пускай узнает старая кровать
Двух счастлив вес. Пусть принимает милость.
Таить, молчать и до поры скрывать,*

*Ведь этому она не разучилась.
Ага, кричишь? Я научу забыть,
Идти, бежать, перегонять и мчаться,
Ты не имеешь права равной быть,
Но ты имеешь право задыхаться.
Ты падаешь. Ты стынешь. Падай, стынь,
Для нас, для окаянных, обреченных.
Да здравствуют наездники пустынь,
Взнуздавшие коней неукрошенных!*

В дверь ванны настойчиво постучали.

— Это ты, Муза моя?

— Нет, это Дед Мороз. Давай выходи, Генсек уже читает.

— Что-то очень важно?

— Хватит дурачиться, выходи.

— С вещами на выход. А рюмку дадите?

— Дам.

— А еще что...

— Выходи.

— Слушаюсь и повинуюсь.

Я вышел из ванны и окунулся в полумрак комнаты, которую освещал экран телевизора.

Весь экран занимало породистое лицо Генсека. Он поверх своих больших очков подымал знаменитые густые брови и изрекал, что экономика должна быть экономной, и мы переходим в очень развитой сосисками социализм...

— Иди ко мне,— послышалось из глубин широко раскрытой тахты.

Я сомнамбулой двинулся на зов моей Музы.

— Давай сделаем так, чтобы это самое, начавшись в этом году, завершилось в новом.

— Что это самое? — продолжая ее ласкать, с притворным непониманием спросил я.

— Ну, это...

— Самое?

— Да, самое.

— Чтобы не было настоящего, а было прошлое и будущее?

— Да.

— Ты сказала «Да», и это слово уже в прошлом.

— Да.

— Я целую тебя, и мой поцелуй уже в прошлом.

Я отбрасывал свое многоточие все дальше и дальше, куда-то за темнеющее московское окно, где на черном фоне кружились в своем безумном танце сонмы снежинок и затем замедляли неистовое круженье ниже нашего двенадцатого этажа.

Да что там какая-то Билитис, жившая до нашей эры на острове Кипр, да что там самые поэтические страницы Ветхого Завета «Песнь песней», да что там сам первородный фольклор, к которому я с детства неравнодушен?! Все ничто по сравнению и по восприятию самого совершенного существа на этом свете, реального существа, плоть из плоти реального, имя которому — Женщина.

Я нежно ее целовал, чуть касаясь губами бьющейся прожилки на шее, которая вела мои губы в ложбинку меж ее маленьких грудей, я нежно касался губами нижней, скрытой их части, а затем пупок и линию бедра, возвышающуюся крутым изги-

бом над тахтой, прикасался и слегка гладил рукой ее чуть выпуклый мысок, покрытый мягкими волосами каштанового цвета.

Я нашел самую малую родинку с внутренней стороны бедра, и эта родинка, словно маковое зернышко, лишала меня рассудка.

Хрустальный звон наших фужеров перемежался звоном наших сердец. Потянувшись к икрам ее стройных ножек, я переломил ножку фужера, шампанское, шипя и пенясь, разлилось по ее упругому животу.

— На счастье! — смеялась моя несравненная Музя и, легко увернувшись от моих объятий, грациозно воссела надо мной.

В ней все гудело, раскрепощая ее южную плоть. В ее возгласах и всхлипах слышен был занебесный гул турбин рейса 505 «Алма-Ата — Москва», все турбулентные зоны на пути его следования покрывали нас своей бездной, где музыка звезд манила и влекла нас. И — в одно мгновение рождала в нас совсем другие, ранее неизведанные зоны.

Генсек с удивлением поднял свои породистые, мохнатые брови и с изумлением разинул рот, глядя на мою Музу, которая мчала «атласной кобылицей» по бездонной московской заснеженной ночи, мчала, втаптывая меня в сугробы навзничь раскинутой тахты, очумелого и покорного ее и своей страсти. Она даже превосходила и предвосхищала «атласную кобылицу» Лорки, ибо она раскрепостила свою страсть в реальности, мчала навстречу своему счастью и к вершинам неописуемого доныне и непознанного, и безотчетного восторга, сидя на мне, таком же живом и также стремящемся к тем же самым вершинам, а у испанского поэта было только прекрасное и талантливое описание всего того, что сейчас происходило с нами.

А с экрана вещал Генсек. Он был единственным свидетелем нашей ночи любви, и он не мешал нам, ибо мы знали, что сейчас, после его слов, прозвучат куранты.

Генсек, не опуская своих удивленных бровей, лукаво промычал:

— С Новым годом!

Когда куранты Кремля начали свой перезвон и четко произвели свой первый удар, в нас уже рождались совсем другие куранты — куранты небес, заглушая все в свете нашего сознания, лишая нас чувства пустой реальности, погружая в бездну безумия и отчаянной, никогда не познанной радости и счастья.

А снег за темным окном, рассыпаясь на множество снежинок-шестеренок, разъял небеса, плавно опуская на вечную землю блестки чего-то неземного, которые уже были в прошлом, но им все равно — в каком времени они были. Самое главное, что они есть и рождают своим безудержном взлетом и падением близкую сердцу и духу и всегда такую неповторимую, внезапную московскую метель.

Наша ночь любви продолжалась, но уже вне времени и пространства. Я был на высоте творческого блаженства.

От критического реализма до реализма социалистического, рассуждал я, охваченный хмельными парами любви и страсти, мы были просто одурачены вехами мнимой литературы. И все эти «измы» ничего не значат по сравнению с самым первородным и естественным по своей природе, который так напрашивается на конец из органа к органию.

Я теперь все могу, я знаю, как завершить свою первую повесть жизни. Что там вчера мне говорил редактор? Что конец моей повести какой-то вялый. Это у меня, у мужика, вялый конец?! Я такой конец покажу, что всем концам будет конец.

Теперь я все могу и все умею.

Я и раньше и не раз знал и познавал прекрасных женщин в прямой реальности и в переносном смысле своего писательского бытия. Но там был все-таки спортивный азарт, писательский интерес да элементарное удовлетворение мужского тщесла-

вия и самолюбия. И это все было как бы так, как бы между прочим, ибо не было прирешства души и плоти, которое только где-то сейчас подступало своим неизвестным началом и никак не собиралось меня выпускать из своего неизбежного плена. Там, в прошлом, не было музыкальных нот и гармонии души и плоти, не было нот моей Музы, которым, чтобы выстроиться в эту жизнеутверждающую гармонию, необходим был ключ.

Скрипичный ключ новогодней ночи.

IV

А утром я повел ее на Красную площадь.

— Это те самые? — по женской логике спросила она, взглянув на Спасскую башню.

— Нет, наши где-то там, в небе,— уверенно ответил я, глядя на бездонную серую высь, до головокружения в глазах сплошь покрытую плывущими снежинками из далеких небесных сфер.